



З · А · Х · А · Р

ПРИЛЕПИН



ГРЕХ



РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНЬ ШУБИНОЙ

Издательство АСТ
МОСКВА

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
П76

Оформление переплёта — ЕКАТЕРИНА ФЕРЕЗ

Прилепин, Захар.
П76 Грех / Захар Прилепин. — Москва : Издательство «АСТ» : Редакция Елены Шубиной, 2015. — 320 с. — (Эксклюзивная новая классика).

ISBN 978-5-17-093246-7

Маленький провинциальный городок и тихая деревня, затерянные в смутных девяностых.

Незаметное превращение мальчика в мужчину: от босоногого детства с открытиями и трагедиями, что на всю жизнь, — к нежной и хрупкой юности с первой безответной любовью, к пьяному и дурному утару молодости, к удивлённому отцовству — с ответственностью уже за своих детей и свою женщину.

«Грех» — это рефлексия и любовь, веселье и мужество, пацанство, растворённое в крови, и счастье, тугое, как парус, звенящее лето и жадная радость жизни.

Поэтичная, тонкая, пронзительная, очень личная история героя по имени Захарка.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-093246-7

© Захар Прилепин
© ООО «Издательство «АСТ»

СОДЕРЖАНИЕ

Какой случится день недели	7
Грех	50
Карлсон	88
Чёрт и другие	110
Колёса	134
Шесть сигарет и так далее	161
Белый квадрат	211
Ничего не будет	220
Иными словами. Стихи Захара	236
Сержант	282

КАКОЙ СЛУЧИТСЯ ДЕНЬ НЕДЕЛИ

Сердце отсутствовало. Счастье — невесомо, и носители его — невесомы. А сердце — тяжёлое. У меня не было сердца. И у неё не было сердца, мы оба были бессердечны.

Всё вокруг стало замечательным; и это “всё” иногда словно раскачивалось, а иногда замирало, чтобы им насладились. Мы наслаждались. Ничего не могло коснуться настолько, чтобы вызвать какую-либо иную реакцию, кроме хорошего и лёгкого смеха.

Иногда она уходила, а я ждал. Не в силах дожидаться её, сидя дома, я сокращал время до нашей встречи и расстояние между нами, выходя во двор.

Во дворе бегали шенки, четыре шенка. Мы дали им имена: Бровкин — крепкому бродяге весёлого нрава; Японка — узкоглазой, хитрой,

с рыжиной псинке; Беляк — белёсому недоростку, всё время пытавшемуся помериться силой с Бровкиным и неизменно терпящему поражение; и, наконец, Гренлан — её имя выпало неведомо откуда и, как нам показалось, очень подошло этой принцессе с навек жалостливыми глазами, писавшейся от страха или обожания, едва её окликали.

Я сидел на траве в окружении щенков. Бровкин валялся на боку неподалёку и каждый раз, когда я его подзывал, дурашливо вскидывал голову. “Привет, ага, — говорил он. — Здо́рово, да?” Японка и Беляк мельтешили, ковыряясь носами в траве. Гренлан лежала рядом. Когда я хотел её погладить, она каждый раз заваливалась на спину и попискивала: весь вид её говорил, что хоть она и доверяет мне почти бесконечно, открывая свой розовый живот, но всё равно ей так жутко, так жутко, что сил нет всё это вынести. Я всерьёз опасался, что у неё разорвётся сердце от страха. “Ну-ну, ты чего, милаха! — говорил я успокаивающе, с интересом рассматривая её живот и всё на нём размещённое. — Смотри-ка ты, тоже девочка!”

Неизвестно, как щенки попали в наш двор. Однажды утром, неразумно счастливый даже во сне, спокойно держащий в ладонях тяжёлые, спелые украшения моей любимой, спящей ко мне спиной, я услышал забубённый щенячий лай — словно псы материализовали всё не-

изъяснимое, бродившее во мне, и внятно озвучили моё настроение своими голосами. Впрочем, разбуженный щенячьим гамом, я сначала разозлился — разбудили меня, а ведь могли ещё и Марысю мою разбудить; но вскоре понял, что щенки лают не просто так, а кланчат еду у прохожих — голоса прохожих я тоже слышал. Как правило, те отругивались: “Да нет ничего, нет, отстаньте! Кыш! Да отстаньте же!”

Я натянул джинсы, валявшиеся где-то на кухне — вечно нас настигало и кружило где ни попадя, по всей квартире, до полного бессилия, и лишь утром, несколько легкомысленно улыбаясь, мы вычисляли свои буйные маршруты по сдвинутым или взъерошенным предметам мебели и прочему вдохновенному беспорядку, — ну вот, натянул джинсы и выбежал на улицу в шлёпанцах, которые неведомым образом ассоциировались у меня с моим счастьем, моей любовью и моей замечательной жизнью.

Щенки, не допросившиеся подачки от очередного прохожего, без устали рыскали в траве, ковыряя мелкий сор, отнимая друг у друга щепки, какую-то сохлую кость, который раз переворачивая консервную банку, — и всё это, естественно, не могло их насытить. Я свистнул, они бросились ко мне — о, если бы так всю жизнь бежало ко мне моё счастье, с такой остервенелой готовностью. И закружили рядом, неистово ласкаясь, но и обнюхивая мои руки: пожрать-то

вынеси, дядя, говорили они всем своим жизне-
радостным видом.

— Сейчас, ребята! — сказал я и вприпрыжку помчал домой.

Я кинулся к холодильнику, открыл его, молитвенно встав пред ним на колени. Рукой я теребил и поглаживал Марысины белые трусики, которые подхватил с пола в прихожей, конечно же, нисколько не удивившись, отчего они там лежат. Трусики были мягкими; холодильник — пустым. Мы с Марысей не были прожорливы, нет — просто мы никогда не готовили толком ничего, у нас было множество других забот. Мы не желали быть основательными, как борщ, мы жарили крепкие слитки мяса и тут же съедали или, мажась и целуясь, взбивали гоголь-моголь и, опять же сразу, съедали и его. Ничего не было в холодильнике, только яйцо, как заснувший зритель в кинотеатре, посреди пустых кресел с обеих сторон: сверху и снизу. Я открыл морозилку и радостно обнаружил там пакет молока. Отодрал с треском этот пакет с его древней лезжанки, бросился на кухню и ещё раз обрадовался, найдя муку. Банка с подсолнечным маслом спокойно стояла на окне. “Будут вам блинчики!” Через двадцать минут я наделал десяток разномастных уродов, местами сырых, местами пережаренных, но вполне съедобных — я сам попробовал и остался доволен. Прыгая через две ступени, ощущая рукой жар блинцов, кото-

рые накидал в целлофановый пакет, я вылетел на улицу. Пока спускался по лестнице, успел испугаться, что щенки убежали, но сразу же успокоился, услышав их голоса.

— Ах, какие вы прекрасные ребята! — воскликнул я. — Ну-ка, попробуем блинцы!

Я извлёк из пакета первый блинчик, который, как и все последующие, был комом. Все четыре разом лязгнули юные горячие пасти. Бровкин — тот, кто позже получил это имя, — первым, боднув остальных, выхватил горячий кус, тут же, обжёгшись, выронил его, но не оставил, а в несколько заходов оттащил на полметра в травку, где торопливо обкусал по краям, после, крутя головой, заглотал и вприпрыжку вернулся ко мне.

Помахивая блинцами в воздухе — остужая их, — я старательно наделял каждого щенка отдельным куском, но мощный Бровкин умудрялся и своё заглатывать, и у родственничков отбирать. Впрочем, делал он это как-то необидно, никого не унижая, а словно придураясь и шая. Той, что после получила имя Гренлан, доставалось блинчиков меньше всех, и я, уже через пару минут научившись отличать щенков — по началу, казалось, неразличимых, — начал отгонять от Гренлан настырных бровастых братиков и ловкую рыжую сестру, чтобы никто у трогательной и даже в своей семье стеснительной животинки её сладкий кусок не урывал.

Так и подружились.

Каждый раз я безбожно врал себе, что за минуту до того, как пришла, вывернула из-за угла моя любимая, я уже чувствовал её приближение — что-то сдвинулось в загустевшем и налившемся синевой воздухе, где-то тормознуло авто. Я уже вовсю улыбался, как дурной, ещё когда Марыся была далеко, метров за тридцать, и не уставал улыбаться, и щенкам приказывал: “Ну-ка, мою любимую встречать, быстро! Зря ли я вас блинами кормлю, дармоеды!”

Щенки вскакивали и, вихляя во все стороны пухлыми боками, спотыкаясь от счастья, бежали к моей любимой, грозя зацарапать её прекрасные лодыжки. Марысенька переступала ножками и потешно отмахивалась от щенят своей чёрной сумочкой. Во мне всё дрожало и крутило щенячьими хвостами. Продолжая отбиваться сумочкой, Марысенька добредала до меня, с безупречным изяществом приседала рядом, подставляла гладкую, как галька, прохладную, ароматную щёку для поцелуя, а при самом поцелуе на десятую долю миллиметра отодвигалась, точнее вздрагивала, — конечно же, я был небрит. За весь день не нашёл времени — был занят: ждал её. Марыся брала одного из щенков, разглядывала его, смеясь. Розовел щенячий живот, торчали три волоска, иногда с обвисшей мизерной белёсой капелькой.

— У них пасти пахнут травкой, — говорила Марыся и добавляла шёпотом: — Зелёной.

Мы оставляли щенков забавляться, а сами шли в магазин, где покупали себе дешёвые лакомства, раздражая продавцов обилием мелочи, которую Марыся извлекала из сумочки, а я из джинсов. Часто раздражённые продавцы даже не считали мелочь, а безразлично сгребали её в ладонь и высыпали в угловую полость кассового аппарата, к другим — не медякам, а “белякам” — монетам достоинством в копейку и пять копеек, совершенно потерявшим покупательную способность в нашем бодро нищавшем государстве. Мы смеялись, нас не могло унижить ничьё безразличное раздражение.

— Обрати внимание, сегодня день не похож на вторник, — замечала Марыся, выйдя на улицу. — Сегодня как будто пятница. По вторникам гораздо меньше детей на улицах, девушки одеты не настолько ярко, студенты более деловиты, а машины не так неторопливы. Определённо, сегодня сместилось время. Вторник стал пятницей. Что же будет завтра?

Я потешался над её нарочито книжным языком — это было одной из наших забав: разговаривать так. Потом наша речь становилась привычно человеческой — неправильные конструкции, междометия, полунамёки и смех. Всё это невоспроизводимо — потому что каждая фраза имела предысторию, каждая шутка была на-

столько очаровательно и первозданно глупа, что ещё одно повторение этой шутки убивало её напроц, будто она родилась слабым цветком, сразу же увядающим. Мы разговаривали нормальным языком любящих и счастливых. В книжках так не пишут. Можно только отдельные фразы выхватить. Например, такую:

— А я у Валиеса была, — сказала Марыся. — Он предложил мне выйти замуж.

— За него?

Глупый вопрос. За кого же.

...Актёр Константин Львович Валиес был старый грузный человек с тяжёлым сердцем. Наверное, оно уже не билось у него, но — опадало.

И тоскливые еврейские глаза под тяжёлыми, как гусеницы, веками совершенно растратили своё природное лукавство. Со мной, как с юношей, он ещё держался — едко, как ему казалось, иронизировал и снисходительно хмурился. С ней же он не мог утаить свою беззащитность, и эта беззащитность смотрелась как белый голый живот из-под плохо заправленной рубашки.

Однажды я как человек, зарабатывающий на жизнь любым способом, находящимся в рамках закона, в том числе и написанием малоумной чепухи, обычно служащей наполнением газет, напросился к Валиесу на интервью.

Он пригласил меня домой.

Я пришёл чуть раньше и блаженно покурил на лавочке у дома. Встав с лавочки, пошёл

к подъезду. Мельком взглянул на часы и, увидев, что у меня есть ещё пять минут, вернулся к качелям, мимо которых только что прошёл, коснувшись их рукой, пальцами, унеся на них холод и шероховатость ржавчины железных поручней. Я сел на качели и несильно толкнулся ногами. Качели издали лёгкий скрип. Он показался мне знакомым, что-то напоминающим. Я качнулся ещё раз и услышал вполне определённо: “В-ва... ли... ес...” Качнулся ещё раз. “Вали-ес” — скрипели качели. “Ва-ли-ес”. Я улыбнулся и чуть неловко прыгнул — в спину качели выкрикнули что-то с железным сипом, но я не разобрал что. В тон качелям хмыкнула входная дверь подъезда.

Я забыл сказать, что Валиес был старейшим актёром Театра комедии нашего города: иначе зачем бы мне к нему идти. Никто не стал допытываться у меня через дверь, кто я такой, — в самых добрых советских традициях дверь раскрылась нараспашку, Константин Львович улыбался.

— Вы журналист? Проходите...

Он был невысок, грузноват, шея в обильных морщинах выдавала возраст, но безупречный актёрский голос по-прежнему звучал богато и важно.

Валиес курил, быстрым движением стряхивал пепел, жестикулировал, поднимал брови и задерживал их чуть дольше, чем может задерживать вскинутые брови обычный человек, не артист. Но Константину Львовичу всё это шло —